Звезда

2012/2

Александр Кушнер
Стихи

Александр Вежный
Nirabhas. Роман

Александр Жолковский
Матросский танец Пастернака

Игорь Смирнов
Зависть и страх перед жизнью

SHOUT
SHARE
IT

- Одна зима моего детства
  - 22 Июня 1941 Года
  - Окоп — землянка — траншея
  - Снаряды и осколки
  - Отъезд в Ленинград
  - Карамель на асфальте
  - Экзамен на выживание
  - За водой
  - На краю
  - Смерть стала обыденностью
  - Женька и близнецы
  - Перелом
  - Занятия и находки
  - Эвакуация

Одна зима моего детства

Памяти моих родителей — Веры Семеновны и Георгия Николаевича Булиных.

Памяти всех ленинградцев, погибших в блокаду.

22 Июня 1941 Года

Июнь 1941 года был в Ленинграде погожим и жарким. По выходным дням заводской комитет профсоюза устраивал выезды за город. Вот и на воскресенье 22 июня назначили поездку на катере до Ям-Ижоры, где было хорошее купание. Я ждала этой поездки больше всех, потому что накануне папа подарил мне игрушечный заводной крейсер, который плыл как настоящий. Конечно, мне хотелось испытать его на большой воде.

Ближе к выходному выяснилось, что никто из мужчин нашей семьи поехать не сможет. У папы возникла необходимость быть на работе. Дядя Петя работал в смену, а дед вообще практически жил на заводе и не мог себе представить, чтобы можно было бросить производство на целый день.

В результате поехали мы с мамой и тетя Юля. Встали часов в семь, наскоро позавтракали, быстро собрались и заторопились на пристань. Я гордо несла свой крейсер.

Пока плыли по Ижоре, солнце поднялось высоко и стало жарко. В Ям-Ижоре многие, только сойдя на берег, сразу побежали купаться прямо здесь же, недалеко от пристани, а мы выбрали место подальше, где не мешали шумные волейболисты, на берегу тихой заводи. Над водой сновали, трепеща прозрачными крылышками, голубые стрекозы и садились отдохнуть на торчащие из воды камыши.

Я пыталась ловить стрекоз, но не поймала ни одной.

Потом мы стали испытывать мой крейсер…

Очень не хотелось идти на катер, когда с пристани через рупор стали кричать, что пора возвращаться. Но на катере тоже было весело (а многие были навеселе). Всю обратную дорогу пели песни, и в таком хорошем настроении выгрузились на причал.

Было странно, что у всех, кто нам встречался, — и у матроса в пробковом жилете, принимавшего чалку, и у людей на улице, — озабоченные неулыбчивые лица. Слышу обрывки фраз: «Война… Немцы… Выступал Молотов… Бомбили Киев…» Тетя Юля говорит решительно: «Какие немцы? Не может быть. У нас с ними договор о ненападении. Наверное, это недоразумение. Пошли скорее домой, сейчас по приемнику все услышим сами». У нас был ламповый радиоприемник СИ-1, самый лучший в то время. Вот по нему-то мы и узнали, что война с Германией, и бомбежки Киева, и другие тревожные новости — все это правда.

Таким мне запомнился первый день войны. Было странно сознавать, что по-прежнему светит солнце, блестит река, мы купались, загорали, запускали кораблик, а уже рвутся бомбы и

гибнут люди…

Окоп — землянка — траншея

Началась странная, ни на что не похожая жизнь в прифронтовом городе. От прежней мирной жизни нас отделяли всего несколько недель. Вроде бы вокруг все то же, но как сильно все изменилось! Тот же дом, что и раньше. Родители заняты прежней работой. Мы ходим за покупками в те же магазины. Но во всех наших повседневных делах зловеще присутствует близость фронта. Очень скоро это присутствие стало вполне осязаемым.

В августе 1941 года папа начал вести дневник. Что его побудило? Ведь раньше он никогда дневников не вел. И никто еще не знал, что впереди у нас небывало суровая зима, смертельный голод и очень многим не суждено дожить до следующей весны. А папа, казалось, интуитивно почувствовал, что его дневник может оказаться нашей единственной весточкой тем, кто останется жив.

Вот первая запись в папином дневнике:

«11/VIII 1941 г. Немцы приближаются к Ленинграду. С заводским эшелоном выехали из Колпино Люба, О. А. и Сенечка (моя тетя, ее сын и бабушка. — *И. Б.*). Ира больна коклюшем, а Вера копает окопы. Я круглосуточно дежурю на заводе Металлокомбинат. Приезжаю домой редко».

Жители соседних с нами домов, имевшие, как и мы, позади домов сады, спускавшиеся к реке, стали рыть там укрытия, чтобы прятаться от бомбежек и артобстрелов.

Наш семейный совет решил рыть землянку в саду подальше от дома, наивно полагая, что бомбы и снаряды будут метить именно в дом. На самом-то деле целью был завод, а на нашу долю доставались недолеты.

Казалось бы, в саду достаточно места, чтобы вырыть укрытие. Но там было очень много (штук сорок) старых плодовых деревьев, через корни которых было бы трудно прорубаться, да и жалко. Был еще пруд, и стояли ульи с пчелами (дедова страсть). Так что выбор места был довольно ограничен. Единственное место, где не было деревьев, — это большая цветочная клумба, гордость бабушки. В других обстоятельствах дед ни за что бы не посмел на нее покуситься, но теперь приходилось действовать «по законам военного времени».

На месте клумбы дед наскоро соорудил нечто узкое и зигзагообразное. Взрослым входить в это укрытие нужно было согнувшись. Сверху этот окоп-землянку накрыли досками и засыпали землей. Между досками были щели, в которые земля

сыпалась при малейшем сотрясении почвы. Под ноги тоже положили доски, но под ними хлюпала вода (река-то была совсем близко). Для сидения и лежания вдоль земляных стен были сооружены лавки. Вход завесили старым одеялом.

Мне в землянке очень понравилось, и я сразу стала обживать это убежище и таскать туда игрушки. Но меня без нужды старались туда не пускать, чтобы я, упаси бог, не заработала ревматизм и не усугубила кашель (остатки коклюша).

Свое не очень надежное укрытие мы опробовали по назначению совсем скоро, потому что начались почти ежедневные бомбежки завода и других объектов.

Утро 30 августа — день моего рождения. Из всех моих дней рождения этот оказался самым памятным, потому что был первый артобстрел Ижорского завода. Стреляли, кажется, с Вороньего бора.

Вечером мама и папа, который приехал из Ленинграда, пожелали мне спокойной ночи, и я легла спать в свою кроватку, а проснулась от грохота. Все трясется, я лежу на досках, надо мной нависает мама, с ее головы на меня сыплется земля (это она, как кариатида, подпирает потолок землянки, чтобы он на меня не рухнул). Папы и деда нет. Бабушка, стоявшая рядом, увидев, что я проснулась, протягивает мне шоколадку и говорит: «С днем рождения, Ирочка. А это тебе Гитлер подарочки шлет» — и показывает на потолок.

Снаряды и осколки

Артиллерийские обстрелы стали обычным делом. Голода еще не было. Конец августа был сухим и теплым. Несмотря ни на что, оставшиеся в городе дети много времени проводили на улице. У ребят появилась странная забава: мы стали собирать осколки от немецких снарядов и бомб. Этим занимались в основном мальчишки, но, так как подруг у меня не осталось, я тоже с этой компанией стала собирать осколки.

Особенно ценными считались те, на которых были номера. Такими можно было хвастать друг перед другом и «выгодно» обмениваться. Для сбора осколков у нас были специальные мешочки, типа кисетов.

Один случай, связанный с осколками, чуть не стоил мне жизни, поэтому он запомнился мне очень ярко на всю жизнь.

Как-то днем начался обстрел. Мы с бабушкой сидели в траншее, остальные члены семьи были на работе. Обычно стрельба продолжалась минут тридцать-сорок, потом наступала тишина. В этот раз тоже вроде все кончилось, и я выскочила в сад собирать осколки — они были еще горячие, даже обжигали руки.

И вдруг снова стали рваться снаряды, но, похоже, не близко, и я не пошла обратно в укрытие. Бабушка выскочила за мной, кричит, чтобы я шла обратно, а я бегаю и подбираю осколки, бабушка — за мной. Вдруг, оглянувшись на бабушку, вижу, что она с вытаращенными глазами остановилась, прижавшись к стволу яблони, и молчит, а от дерева отваливаются ветки, как будто срезанные с маху острой саблей.

Я остановилась, где стояла, и вижу, как вокруг меня здесь и там поднимаются маленькие фонтанчики сухой земли, как всплески на луже в летний дождь. И продолжают падать ветки с созревающими на них яблоками, как срезанные.

Вот теперь мне стало страшно. Я тоже остановилась и прижалась к стволу старой яблони. Так мы и стояли с бабушкой, глядя друг на друга, не в силах пошевелиться.

Когда обстрел закончился и наступила тишина, бабушка даже не ругалась — она не могла говорить, ее била дрожь.

Больше я осколки не собирала.

Отъезд в Ленинград

Хотя осень в 1941 году была теплой и мало дождливой, ночевать в землянке было сыро и неуютно. В доме ночевать боялись, так как обстрелы стали очень частыми. Папа приезжал редко. Он жил на заводе, у себя в кабинете. А мама, наоборот, перестала работать, потому что ее организация «Колпинторг» перестала существовать.

Однажды под утро, во время очередного артобстрела, когда мы были в землянке, в наш дом попал снаряд, как раз в теткину спальню. Он не разорвался, только разбил стену и сделал дыру в полу. К этому времени в свободных квартирах нашего дома размещался полевой госпиталь. Всех раненых вытащили во двор, стали переносить в подсобные постройки на заднем дворе и к соседям. Приехали саперы на грузовике и что-то стали делать с этим снарядом. Нам велели не вылезать из землянки.

Когда опасность миновала и нам разрешили выйти из убежища, мы с мамой стали собирать в чемодан самые необходимые вещи, потому что приехал папа и было решено нам перебираться в Ленинград.

Дед Коля с бабой Аней ни за что не хотели уезжать из Колпина. Дед не мог себе представить, как это он оторвется от завода, а бабушка боялась бросить дом и все добро, хотя никто вокруг не мог бы поручиться: удастся ли отстоять Колпино и завод или сюда придет враг.

Чтобы нам попасть в Ленинград, пришлось с чемоданами идти пешком до Обухова, потому что в Колпино поезда уже не ходили.

Карамель на асфальте

Через пять дней бабушка и дед тоже оказались в Ленинграде. В результате жестокого обстрела прабабушкин дом на Троицкой улице, куда они перебрались, сильно пострадал. Жить там дальше было невозможно — кто знает, куда упадет следующий снаряд.

Приближалось время тяжелейших испытаний для всех ленинградцев. Мы еще и представить себе не могли, как смертельно трудно всем нам будет.

И мне теперь думается, что, когда жизнь каждого из нас, как огонек тонкой свечки на ветру, могла в любое мгновение погаснуть, лишний шанс выжить нам давала любовь.

Безо всяких нравоучений и нотаций, просто глядя на своих родителей, я очень скоро перестала быть капризным ребенком, избалованным родительской любовью. Не умея объяснить это, я тем не менее поняла, что много любви не бывает, и старалась как могла вернуть своим близким этот долг.

Не помню точно, в какой из дней второй половины сентября начался страшный пожар на Бадаевских продовольственных складах. Казалось, все небо над городом заволокло черным дымом. В воздухе горьковато пахло жженым сахаром. Сахар горел, плавился и тек по улице, как лава, вбирая уличный сор и застывая коричневой карамелью. Люди отковыривали и собирали эти потеки. Никто их не гнал. Соседи тоже поехали туда на трамвае и привезли пласты жженого сахара вместе с землей.

Было уже понятно, что грядет голод.

После этого пожара продуктовые нормы резко сократились — нужно было экономить.

По непонятной мне причине вскоре после пожара на сахарные карточки выдали фигурный шоколад, причем по той же норме, что и сахар до пожара. Потом оказалось, что это была вообще последняя выдача сладкого. Может быть, имело бы смысл разбить эту выдачу на несколько, чтобы растянуть запасы на более длительный срок. Ведь шоколад более питателен, чем сахар, и в преддверии голода его следовало бы экономить. Но людям ничего не объясняли (похоже, что специально), и думаю, что многие дети быстро съели эти красивые шоколадные фигурки.

Моя мудрая и дальновидная мама, на долю которой уже выпало пережить голодные 1920-е годы, объяснила мне, что этот шоколад надо есть понемножку. Надо его беречь. Поэтому, когда мы по тревоге шли в бомбоубежище, я брала с собой маленьких Пата с Паташоном и бумажный пакетик с шоколадом.

Налеты бывали короткие, а бывали и затяжные. Иногда взрывы слышались где-то далеко, а иной раз — совсем рядом, и тогда было страшно. Почему-то в этих случаях очень хотелось шоколада. Я просила у мамы разрешения съесть хоть одну шоколадку, и она, видя, как мне плохо, конечно, разрешала.

Я начинаю вынимать из пакета шоколадных рыбок, чтобы выбрать, какую съесть, а рядом на лавке сидят люди. Совсем тесно, как в метро. И я, воспитанная педагогически правильно (если в обществе что-то ешь, надо предложить окружающим), начинаю предлагать соседям: «Возьмите, пожалуйста». Одни вежливо отказывались, а другие, особенно дети, засовывали ручки в мой пакетик и вытаскивали шоколадные фигурки.

Мама не знала, что делать. Она очень боялась, что я — единственный ребенок в большой семье взрослых, которого все баловали, — вырасту жадной и эгоисткой, а потому старалась воспитывать меня в идеалах добра и справедливости. Но теперь совсем другая ситуация. Надвигается голод, и неизвестно, какое снабжение будет даже через месяц.

Мой шоколадный запас потерпел заметный урон, а маме пришлось мне потом объяснять, что бывают ситуации, когда нет возможности угощать чужих людей. И если не можешь угостить, лучше потерпеть и не есть самой.

Дом, в котором мы поселись, находился на углу Кировского проспекта и Песочной улицы (теперь улица Попова). Квартира — на шестом этаже. На самом деле это была квартира двух дедушкиных братьев — Василия Дмитриевича и Семена Дмитриевича. Но старший брат деда, Семен (участник еще Русско-японской войны), почти постоянно жил на родине, в Боровичах, и его комната была свободна. Вот в ней-то мы теперь все впятером (мама, папа, я, дедушка, бабушка) и поселились.

Еще в квартире на тот момент оставались: дядя Вася, преподаватель Института транспорта (я привыкла называть дядями дедушкиных братьев, как их называл папа), тетя Надя, жена дяди Васи, двое детей сестры моего деда — Ниночка, студентка пединститута, и Васютка-маленький, тоже студент. В армию его не мобилизовали из-за очень сильной близорукости.

В начале войны он ушел в народное ополчение. Поскольку фронт был совсем рядом, Васютке удалось пару раз побывать дома в увольнении. А в конце декабря к нам зашел его однополчанин и сообщил, что Вася убит.

Экзамен на выживание

Наша комната была большая, с высоким потолком и двумя огромными окнами, а потому очень холодная, особенно при полном отсутствии нормального отопления и в условиях небывало суровой зимы. Окна стали занавешивать одеялами (все равно в темное время суток должно быть затемнение), а для отопления папе на заводе сделали печку-буржуйку. Печка была железная, круглая, чуть больше ведра и на ножках. Ее труба была выведена в окно. Топили чем придется. Иногда на заводе папе выдавали какие-то обрезки на дрова.

Раздобыли два ведра — одно для воды, а другое вместо туалета. Расходовать воду и заполнять туалетное ведро приходилось очень экономно, потому что ни водопровод, ни канализация не работали. Туалетное ведро нужно было выносить во двор, а за водой ходить на Неву. Даже для выноса туалетного ведра нужно было спуститься с шестого этажа и подняться обратно (ведь лифт не работал), а принести воду с Невы было и того труднее. При крайне скудных продовольственных пайках все быстро отощали, потому любая физическая нагрузка требовала предельного напряжения сил.

Дедушка с бабушкой поместились на кровати, а мы с мамой и папой — на полу на матрасах. Спать ложились рано, часов в шесть-семь, чтобы экономить силы, топливо и масло для коптилки. Коптилкой назывался самодельный светильник, вроде лампадки, состоявший из пузырька, куда наливалось масло (которое могло гореть, но не годилось в пищу) или керосин, если был. Туда опускался фитилек, скрученный из ниток и пропущенный в тонкую трубочку, которая поддерживалась на горлышке пузырька жестяным кружочком. Примерно так освещались эскимосские жилища. Но эскимосы использовали в светильниках тюлений жир, а нам такая роскошь была недоступна (будь у нас тюлений жир, он сразу же был бы съеден), поэтому в коптилки наливали бог знает что (если не удавалось достать керосин) и коптили они нещадно, оправдывая свое название.

Спали в пальто и валенках (у кого они были). Сверх этого укрывались всем, чем только можно. И все равно к утру становилось очень холодно. Поначалу долго не давало заснуть нестерпимое чувство голода. После еды оно не проходило совсем, а только немного приглушалось. Со временем оно притупилось и стало просто частью существования.

Утром папа вставал первым, чтобы идти на работу, и

растапливал буржуйку. Печка быстро нагревалась, начинала потрескивать, бока у нее становились красными. Комната отогревалась. Мы могли подняться и попить горячей воды, которую папа кипятил на печке.

Нам повезло — мы еще долгое время могли понемногу пить и чай и кофе из бабушкиной коллекции. Она была страстной любительницей чаепития, и лучшим подарком для нее был хороший чай в жестяной банке из фирменного магазина или какой-нибудь экзотический кофе. Все друзья и родственники это знали и на день рождения и другие праздники старались делать ей именно такие подарки. В результате у бабушки скопилась небольшая коллекция чая и кофе. Все это богатство папа привез в Ленинград из Колпина.

Расходовали мы эти запасы очень экономно. Использованную заварку и кофейную гущу не выбрасывали. Из них потом жарили лепешки на олифе, маленькие, как печеньица. Я следила, чтобы мама их делила строго поровну между всеми членами семьи.

Пищевых отходов в нашем нынешнем понимании вообще не стало. Например, очистки от той картошки, что папа привез из Колпина, отмывали, натирали на терке и пекли из них какое-то подобие лепешек. Потом картошка кончилась — кончились и очистки.

Еще 10 декабря папа записал в дневнике: «Выдачи никакой нет». И 11-го, и 12-го, и еще много дней подряд он мог бы делать такие же записи. В дневнике эти дни просто пропущены. А мама каждый день ходила и ходила в магазин, надеясь получить по продуктовым карточкам хоть что-нибудь. Ходить ей приходилось очень далеко, так как карточки были прикреплены до конца месяца к магазину в том районе, откуда мы переехали на Кировский. Тут уж ничего нельзя было поделать.

Далеко не все теперь знают, что такое карточки. А это были такие продолговатые листочки бумаги в треть тетрадного листа, отпечатанные в типографии. С левой стороны были категория карточки и сведения о магазине, к которому она прикреплена, а все остальное поле разграфлено на маленькие, меньше почтовой марки, талончики, в которых обозначена норма разовой выдачи продуктов — жиров, круп, сладкого. Для работающих норма больше, для неработающих — меньше. При покупке по карточкам продавец отрезал ножницами от карточки соответствующее количество талончиков. Выдавались карточки на месяц вперед и при утере не возобновлялись. Поэтому человек, потерявший карточки, рисковал просто умереть, не дожив до конца месяца.

На хлеб были отдельные карточки. И когда по продовольственным карточкам много дней подряд не выдавали

ничего, надежда была только на хлеб. Правда, то, что называлось хлебом, было выпечено лишь с небольшим добавлением муки. А из чего оно состояло в основном, бог весть. Но нормы и этого «хлеба» были такими мизерными, что теперь и представить себе трудно, что это была вся еда на целые сутки.

А зима в 1941 году стояла совсем не похожая на обычную ленинградскую зиму — постоянные морозы в 20–30 градусов и ниже. Как мама это выдержала, до сих пор не понимаю. Теперь, возвращаясь памятью к тем дням, я думаю, что мы выжили только благодаря ей. Ведь кроме похода в магазин ей надо было вынести помои, сходить за водой и позаботиться о топливе для печки — и все это в мороз и при самом скудном питании. Бабушка, а ей было всего пятьдесят четыре года, из квартиры не выходила, дед, которому было шестьдесят пять, вообще по большей части лежал.

Топливо стало такой же жизненно важной проблемой, как и еда. Ни одной деревяшки на улице не осталось, все заборы были разобраны на дрова. Те, кто не мог достать дров, топили мебелью и книгами. Отсутствие дров было так же смертельно опасно, как и отсутствие еды.

Наконец — о счастье! — ближе к Новому году по карточкам выдали почему-то вино в маленьких бутылочках по 125 г. Всего на пятерых получилось около полутора литров. Решили сменять его на какую-нибудь еду. Но опыта в проведении подобных операций еще не было. И вот что в результате получилось: жулик, одетый в военную форму (наверное, интендант), взял вино и вошел в подъезд, пообещав тут же вынести картошку. А в подъезде с другой стороны был выход во двор… Долго родители стояли на морозе, пока не обнаружили, что обмануты. Их прогнал домой комендантский патруль.

Городские власти из последних сил пытались сделать хоть что-нибудь для улучшения санитарного состояния граждан — вдруг заработала баня, одна на всю округу.

Запись из дневника:

«22/XII 1941 г. Я, папа и д. Вася ходили в баню, но из-за холода не смогли домыться. В магазинах все еще ничего не дают. Хлеба выдают с ноября по 125 гр. на иждивенцев и только я получаю 250 гр. Запасы все истощились. Есть нечего».

Вспомните, сколько раз вы в сердцах восклицали: «Есть нечего!» — заглянув в холодильник и обнаружив там одну сосиску, пакет молока и кусок сыра. Не дай вам бог узнать, что это такое по-настоящему. Отрежьте от килограммовой буханки 1/8 часть. Представьте, что у вас на целые сутки больше совсем ничего нет, и прикиньте, как бы вы смогли прожить на таком рационе не день и не два, а неделю, и две и три. Добавьте к

этому, что у вас не тот хлеб, который вы едите каждый день, а невероятный суррогат, изготовленный невесть из чего. Вот когда даже ничтожная прибавка нормы становится невероятной радостью:

«25/XII 1941 г. Неожиданно радость. Прибавили норму хлеба рабочим 350 гр. и прочим 200 гр. вместо 250 и 125 гр. Включили свет».

Однако радость быстро иссякла, потому что 250 гр хлеба в сутки — это голод и 350 г — тоже голод, если больше совсем ничего нет. И со светом по вечерам пробыли всего два дня — 27 декабря его снова выключили. Так что Новый 1942 год пришел в темноте. Да и не стали дожидаться полуночи:

«1/I 1942 г. Новый год встречали без освещения. Выпили по чашке какао и часов в 9 вечера легли спать. Утром пришел Матвей. Обедал у нас и ночевал».

До конца года растянули бабушкины чайно-кофейные запасы, но теперь, похоже, и они подошли к концу.

За водой

У нас было одно ведро и бидончик литра на два, и это все. На пять человек.

С утра мама уходила в магазин, простаивала в очереди до открытия и, убедившись, что сегодня, как и в прошлые дни, выдачи не будет, выкупала по карточкам хлеб, если давали, и возвращалась домой.

Теперь надо было отправляться за водой. Ходили на Неву, к Троицкому мосту. Это довольно далеко, примерно три трамвайных остановки. Трудная работа для крайне истощенных людей, учитывая еще, что ведро с водой нужно было втащить на шестой этаж. Больше одного раза в день принести воду было не по силам, поэтому ее жестко экономили. Мы не умывались по нескольку дней. Мне мама протирала лицо и руки влажным полотенцем. Папа умывался и брился на заводе — там была вода. Когда нападало много снега, его стали набирать и растапливать для умывания.

За водой я почти всегда ходила вместе с мамой — она с ведром, я с бидончиком. Она не хотела меня брать, но я все-таки стояла на своем, и мама сдавалась.

Я очень боялась отпускать маму одну именно за водой. Дело в том, что у нее не было подходящей обуви для такой морозной зимы. У меня-то были новые валенки с галошами, купленные до войны, еще год назад, «на вырост». А у мамы были только фетровые ботики.

Конечно, выстаивать очереди на морозе или ходить за водой в ботах с туфлями было невозможно. Поэтому мама оторвала от туфель каблуки и вставила их в боты, чтобы пятка не проваливалась, а на ноги для тепла наматывала портянки. Но все равно боты были на каблуке и с кожаной подошвой, а потому очень скользкие.

В такой же обуви мама моей подруги Нины Дорошкевич, попав на Литейном мосту под бомбежку, изо всех сил, которых было совсем мало, побежала к берегу в сторону Литейного проспекта. Вокруг падали, взрывались и горели зажигательные бомбы. Женщина поскользнулась, упала и сильно расшиблась. Она нашла в себе силы дотащиться до дома. Пальто у нее во многих местах прогорело до дыр, но защитило ее от ожогов. А на следующий день она не смогла встать — отнялись ноги. Больше она не вставала.

Там, где из Невы набирали воду, были сделаны длинные узкие проруби, чтобы только прошло ведро. Их края все время

обливались водой, которая замерзала буграми и горками. И мне казалось, что мама в своих ботиках поскользнется (как не раз бывало) и, если я ее не удержу, обязательно упадет в прорубь. И я шла с мамой, чтобы в случае чего ее спасти.

А если мама упадет где-нибудь на улице и не сможет сама встать? Я уже видела на улицах людей, которые упали и умерли. Некоторые лежали, зажав в руке веревку от саночек, на которых стояли ведра. Вода в них уже замерзла.

Меня всю жизнь преследует картина, увиденная в один из походов за водой. Из-за нее я не люблю зимой ездить в Петербург.

Солнечный безветренный день. Мороз такой, что ресницы слипаются, когда моргаешь. Все завалено снегом, который некому убирать. Синевой сверкает купол мечети, на него больно смотреть. Хочется прикрыть глаза, оставив только маленькие щелочки.

Нас обгоняет грузовик. Кузов накрыт брезентом. Задний борт грузовика ниже боковых, и брезент с одного угла немного откинулся. Из-под брезента видно, что в кузове, как бревна, сложены трупы. Почему-то почти все они голые, с торчащими обтянутыми кожей костями. С борта свисает длинная и толстая русая коса. Это девушка или молодая женщина. Ее голова лежит затылком на борту грузовика, как будто она смотрит в небо. Я не хочу на это смотреть и не могу оторваться. Машины с таким грузом проезжали мимо нас довольно часто, но этот грузовик с девушкой хочу и не могу забыть до сих пор.

Мы тогда не знали, куда свозят трупы со сборных пунктов для массового захоронения. И я по детской глупости спрашивала у мамы:

— Их будут топить в Неве?

— Их везут хоронить, — отвечала мама. Но я все равно с ужасом заглядывала в прорубь.

На краю

В январе наступил самый ужасный голод. Кроме хлеба, совсем ничего не выдавали. И с хлебом тоже бывали перебои. Мама в отчаянии, нарушая комендантский час, уходила из дому затемно, часов в шесть, и возвращалась ни с чем. Один раз она так простояла в очереди целый день — хлеб все не везли, а люди стояли и ждали. Некоторые падали и умирали прямо в очереди.

И с деньгами у нас было худо. Последний раз папа получил зарплату только за вторую половину ноября. И со сберкнижки нельзя было взять — в сберкассах не было денег.

Морозы стали такими жестокими, что мама не каждый день ходила за водой, ей тоже не хватало сил. Использовали растаявший снег.

Дяде Матвею, маминому брату, было труднее, чем нам, потому что он жил один и сердце у него было больное. Папа устроил его работать на свой завод и договорился, чтобы он мог оставаться ночевать в конторе. Вскоре он умер.

Бабушкин муж Семен Михайлович Рыбаков, отец мамы, дяди Матвея и еще двух дочерей, моих тети Лиды и тети Любы, сын солдата-кантониста, сам отслуживший в армии семь лет, всю жизнь прожил среди русских и к иудейской религии не имел никакого отношения. Он умер молодым в 1908 году, спасая на Неве во время ледохода тонущего ребенка (оставив сиротами своих четверых — младшей 9 месяцев, старшему 6 лет). Он был похоронен на Обуховском еврейском кладбище.

Думаю, что мама, мучаясь чувством вины перед своей мамой и братом за то, что его не уберегла, решила хотя бы отчасти ее искупить, похоронив Матвея на одном кладбище с их отцом. Видимо, именно от отца мама унаследовала безудержную порывистость, которая проявлялась в критических ситуациях.

Моя другая, сугубо православная и верующая бабушка Аня была абсолютно чужда какой бы то ни было неприязни к людям нерусской национальности или иного вероисповедания, моя мама — тоже. Если они и ссорились как невестка со свекровью, то уж никак не на религиозной или национальной почве. А тут, когда мама затеяла везти гроб с покойником на Обуховское еврейское кладбище (это за 15 километров!) вдвоем с папой, который и сам еле ходил, тут уж ее гнев вылился на мамину голову по полной программе. Но мама была непреклонна.

Родителей не было дома два дня. И дать о себе знать у них не было никакой возможности (мобильные телефоны тогда еще не изобрели, а городские не работали).

Наверное, никогда прежде, ни впоследствии я так не боялась потерять маму и папу. Я плакала целый день и всю следующую ночь. Мне кажется, что я совсем не спала. На другой день, как назло, был обстрел нашей стороны улицы. В убежище мы уже давно перестали спускаться. Бабушка причитала, молилась потихоньку и на мои слезы приговаривала: «Это ж надо быть такой сумасшедшей! Бросить ребенка и двух стариков умирать, чтобы похоронить уже умершего и обязательно на еврейском кладбище».

У нас кончились запасы воды. Когда прекратился обстрел, бабушка рискнула послать меня во двор набрать снега. «Иди скорей, — сказала она, — пока еще светло». Я взяла свой бидончик, с которым ходила за водой, и детский совок, закуталась потеплей и пошла, не переставая при этом плакать. Я думала: «Если родители погибли, мне теперь придется все время ходить за снегом. На Неву за водой я одна ходить боюсь. А кто же будет ходить за хлебом?»

Хотя дом был почти не жилой, на лестнице днем не было страшно, потому что она освещалась через высокие окна на лестничных площадках. Правда, многие стекла были выбиты, а вместо них вставлены листы фанеры, но света хватало. У окон были широкие подоконники, где удобно было сесть и отдышаться, поднимаясь наверх.

Спустившись вниз, я обнаружила, что забыла дома варежки. Пришлось идти так. У нашего дома был типичный ленинградский двор-колодец. Чтобы в него попасть, нужно было выйти из подъезда на улицу и войти в арку ворот. Мороз обжег кожу и стал колоть суставы пальцев. Место, где снег был чистый, нашлось не сразу — везде были следы вылитых ведер с нечистотами. Наконец набрав в бидончик снега, я пошла обратно. А пальцев уже не чувствовала. По дороге посидела на подоконнике и подержала руки под мышками. Закоченевшие пальцы заломило. Потом, уже когда поднялась домой, боль постепенно прошла.

Родителей все не было. Когда стемнело, бабушка мне сказала: «Все. Скорее всего, их уже нет в живых. Твоя мать оставила тебя сиротой». А родители просто шли очень медленно, и мама время от времени везла папу на санках, когда идти ему было совсем невмоготу.

Как мама потом рассказывала, папа просил оставить его в каком-нибудь подъезде на ночь, а самой налегке идти домой. Но мама продолжала его тащить, понимая, что если бы он остался, то навсегда — он бы неминуемо замерз.

Не мне судить маму в этой истории, но я все же никак не могу понять, как у нее тогда могло так сильно притупиться

чувство опасности. Фактически она поставила на карту жизнь всех нас пятерых (и, слава богу, выиграла). Ведь если бы они с папой не вернулись, мы с бабушкой и дедушкой наверняка бы погибли.

После войны мама не смогла отыскать могилу брата, хотя хорошо запомнила это место. Почти наверняка, как только они ушли с кладбища, эту могилу таким же образом за хлеб перепродали кому-нибудь еще. В тридцатиградусный мороз долбить мерзлую землю было очень трудно, и люди, ослабленные недоеданием, даже верующие, становились циниками и жуликами.

Смерть стала обыденностью

Следующих близких мы хоронили уже как обычно в те суровые дни — отвозили на ближайший сборный пункт. Видимо, в обстановке непрерывного стресса психика людей менялась. Следствием этого было прежде всего ослабление остроты эмоций. Действительно, горя и смертей вокруг было столько, что их просто невозможно было воспринимать как в мирное время, включались какие-то охранительные механизмы.

Вслед за Матвеем умер бабушкин брат Виктор. Свою породистую овчарку Альму они съели еще раньше. Но это не спасло. По просьбе жены Виктора Веры папа заказал для него на заводе гроб. Хотя смысла в этом не было — всех умерших свозили на грузовиках в места массового захоронения. Потом уже без гробов отвезли на сборный пункт бабушкину мать, мою прабабку Елену Ивановну, и вскоре ее сестру Феодосию Ивановну. Потом — бабушкину сестру Веру Ивановну, мужа бабушкиной сестры Марии Вениамина Смирнова и его брата. Все эти смерти следовали одна за другой в течение января-февраля.

Смерть стала неотъемлемым элементом каждодневной жизни города. Казалось бы, я, еще ребенок, должна была бы острее взрослых переживать кончины близких и хорошо знакомых мне людей, но почему-то глубже врезались в память другие картины.

Недалеко от нашего дома лежал несколько дней умерший мужчина. Сначала он оказался без шапки. На следующий день с него сняли валенки. Так он и лежал, как-то неестественно повернувшись на бок, босой, с непокрытой головой. Открытые глаза смотрели куда-то в неведомую даль. Потом его замело снегом…

Зимой 1941–1942 года оттепелей не было. Даже небольшие потепления были редкостью. Почти все время стояла ясная и очень морозная погода.

И этот контраст синего неба, яркого солнца и замерзших домов со сверкающими инеем стенами и выбитыми стеклами окон и лежащими на улице трупами изможденных людей, которых не успевали убирать, создавал ощущение мертвого города. Эту картину дополняли еле бредущие полуживые, но еще живые люди, с серыми лицами и ввалившимися глазами, закутанные в платки или одеяла поверх пальто (непонятно, мужчины или женщины), везущие саночки, иногда с ведрами воды, но чаще с завернутыми в простыни трупами (покойников заворачивали в простыни, чтобы не тратиться на гроб, да и делать их было не из чего — все дерево пошло на дрова).

Теперь я не могу приезжать в Петербург зимой. Вечером на оживленных улицах, когда празднично светится реклама, весело мелькают огни машин и светофоров, спешат люди, картины прошлого отступают. Но в яркий солнечный зимний день меня все время преследуют видения того зимнего Ленинграда. Хочется крикнуть и прогнать наваждение. И комок подступает к горлу.

Странно, но естественного детского страха при виде мертвых людей я тогда не испытывала. Ведь эти люди только что были живыми, шли куда-то, как и мы. И вдруг упали — и всё. Я знала, что в любой момент вот так же могу упасть я, или мама, или папа. Мы были такие же, как они, — все стояли на краю жизни.

Если еще недавно, ложась спать, мы надеялись, что завтра удастся что-нибудь получить по карточкам или выменять, то к середине января эта надежда исчезла. Пришло отчаяние, а затем какая-то отупелость. Из-за сосущего чувства голода я плохо засыпала. Иногда в темноте и тишине подступал страх, что вот сейчас умрет мама или папа. И я начинала их потихоньку ощупывать и прислушиваться — дышат ли? Я знала, что многие от голода умирают во сне, как дядя Матвей. Однажды ночью я услышала, что плачет бабушка, и решила, что дедушка умер (ведь он давно уже лежал, почти не вставая). Но я даже не окликнула ее, а только ощупала маму и папу, между которыми я лежала, и убедилась, что они живы. А ведь дедушку я тоже очень любила.

Утром оказалось, что живы все.

В какой-то момент мне надели на шею маленький мешочек на шнурке, в котором были адреса родственников на Большой земле и бабушкины сережки с бриллиантами, мамины колечки и золотые часы, и объяснили на случай, если все умрут, чтобы я не пугалась, не оставалась дома, а шла в милицию. Там мне помогут добраться до родных. А золото можно будет потом продать или выменять на продукты, чтобы дожить до конца войны.

Я, конечно, спросила: «А если я умру?» Мама сказала, что этого не может быть, чтобы я даже не думала об этом: «Ты еще маленькая девочка, а дети не должны умирать». Но я, конечно же, думала об этом, и мне было очень жалко маму. Я была уверена, что если умру я первая, она тоже умрет от горя, и очень быстро.

У меня уже появились признаки дистрофии и цинги. На ногах, около щиколоток, были нарывы, которые не проходили ни от каких мазей, что были в домашней аптечке (их пришлось еще долго лечить потом, в эвакуации). Не росли зубы вместо молочных, которые выпали еще перед войной. Ведь мне было 8 лет, и зубы должны были меняться. А они так и не выросли никогда, эти четыре блокадных зуба.

У папы тоже начались нарывы на ногах и очень распухла

правая рука. Он было перестал бриться, но мама сказала, что нельзя начальнику приходить на завод в таком виде, и стала брить его сама. Я запомнила диагноз, который поставил папе заводской врач: миодистрофия. Тогда это звучало зловеще и непонятно, но теперь я знаю, что это общее резкое ослабление организма на почве длительного голодания.

Несколько дней мама провожала папу до завода. Пару раз даже везла его на санках. Ведь люди падали в голодные обмороки прямо на ходу и в тридцатиградусный мороз просто замерзали, не успев очнуться.

Папе предложили определиться на две недели в заводской стационар. Было при заводе такое лечебное заведение, вроде профилактория, куда помещали особенно истощенных работников. Они продолжали работать, и им делали какие-то поддерживающие уколы и чуть-чуть кормили. Кроме того, они могли не тратить силы на дорогу с работы — на работу. И люди продолжали работать. Как я недавно где-то прочла, в блокированном Ленинграде производилось столько военной техники и боеприпасов, сколько на Ленинградском фронте и не было нужно. Излишек вывозили по Ладоге на другие фронты.

Числясь в стационаре, папа чаще всего приходил ночевать домой и даже приносил мне от своего рациона немножко чего-то вроде супа, в котором плавали тоненькие волокна как будто мяса и отдельные листики капусты. Мне эта еда казалась такой вкусной, ведь я давно уже ничего, кроме своего хлебного пайка (200 гр в день), не ела. Мама же уговаривала папу не приходить и не приносить то, что ему дают.

С некоторых пор у папы появился дополнительный источник очень ходового товара, который на рынке можно было сменять на еду, — это курево. Курящим на заводе выдавали папиросы и табак, и папа стал делать вид, что он курит (потом, правда, пристрастился по-настоящему, но это уже в эвакуации).

Папа и мама старались как могли поддержать друг друга, и оба они всем, чем можно было, поддерживали мою жизнь. А у некоторых людей в психике происходили странные изменения. Например, в конце января бабушка вдруг удивила нас тем, что попросила маму, которая получала хлеб по карточкам на всю семью, приносить ее и дедушкину долю отдельно от нашей. Мы предположили, что бабушка подозревает маму в том, что она утаивает часть их хлеба.

У деда в эти дни произошел инсульт. Теперь он лежал совсем не вставая, и очень плохо говорил (почему-то его могла понять только я). Он стал меня подзывать и показывать знаками и мычаньем, что бабушка ему не дает хлеба, а съедает его порцию.

Бабушка сердилась и загораживала ширмой угол, где лежал дед. Но я, как юный борец за справедливость, стала ее контролировать и следить, чтобы он получал свой кусочек полностью. Я размачивала этот хлеб в воде и кормила деда. Бабушка выразительно крутила пальцем у виска и шептала: «Лучше съешь сама».

Думаю, что, поступая так, бабушка не желала деду зла. Просто она была уверена, что он не выживет. Ведь жизнь тогда постоянно ставила людей перед жесточайшим выбором, создавая ситуации, когда любое решение могло быть либо самоубийством, либо смертным приговором кому-нибудь другому.

Женька и близнецы

После того как в наш дом попал снаряд и во многих квартирах вылетели стекла, к нам в одну из комнат перебралась семья со второго этажа, где все окна оказались разбитыми и дыры нечем было заделать. Молодую женщину звали Лида, она работала на хлебозаводе. Ее шестнадцатилетний сын Женька, щуплый парнишка небольшого роста, выглядевший младше своих лет, учился в ремесленном училище при одном из заводов. Еще были две девочки — близнецы лет примерно трех (я не помню, как их звали). Муж Лиды был на фронте.

Лида работала сутки через двое. И когда она была на работе, а Женька уходил в ремесленное, девочки оставались одни. Они почти не вставали и не разговаривали, просто лежали с закрытыми глазами. В такие дни к девочкам заходил кто-нибудь из нас, чтобы подбросить чурок в буржуйку или дать им воды и хлеба.

Я тоже приходила и старалась их занять. Я сидела около их кровати и читала вслух что-нибудь из найденных в квартире довоенных детских журналов «Еж» и «Чиж». Девочки совсем одинаковые, с беленькими кудряшками, в белых платочках на головах, лежали рядом и не всегда даже открывали глаза. Но когда я замолкала, они начинали поворачивать головки, и я понимала, что они слушают. А может быть, им просто нужно было слышать чей-то голос и чувствовать, что они не одни.

Женьке было жалко сестричек, и он, несмотря на то что его завод был далеко, каждый день через весь город приходил домой и приносил им в баночке «суп» (баланду из муки с водой) и пару ложек какой-то каши, отрывая это от своего рабочего пайка. Ремесленники, кроме того что учились, работали на заводе. Кто был мал ростом, тому подставляли под ноги ящики. Им давали за это рабочие карточки и кормили чем могли в заводской столовой.

Женька был крайне истощен. Еда в столовой ремесленного училища, эти жалкие крохи, да хлебный паек — вот и все его питание. У Лиды не было накоплений с довоенного времени и не было дорогих вещей, а потому не на что было купить или выменять еду в дополнение к пайку. А ни хлеба, ни продуктов все не выдавали — совсем ничего! Даже курево Лида не могла выменять, потому что курила сама. Дети угасали, и она ничем не могла им помочь.

Работая на хлебозаводе, Лида, видимо, могла там есть хлеб и не голодала, но вынести не могла ничего. Хлебозаводы охранялись как военные объекты. Если бы ее поймали с хлебом в

то суровое время, то, наверное, могли бы и расстрелять. Лида очень переживала за сына, что он приходит каждый день и тратит силы на ходьбу, хотя мог бы ночевать в общежитии. К тому же он еще больше недоедает, принося сестричкам часть своего обеда. Лида говорила моей маме: «Хоть бы Женька остался жив! Эти уже не жилицы, у них голодный понос начался».

В Ленинграде все хорошо знали, что такое голодный, или кровавый, понос. Это последняя стадия истощения, когда желудок уже не воспринимает никакой пищи, отторгает все. Вскоре эта стадия началась и у Женьки.

К вечеру 21 февраля, судя по папиному дневнику, по радио объявили о выдаче завтра жиров и крупы. Жиров — рабочим по 150 гр и остальным по 100 г. Боясь, что всем может не хватить, мама с Лидой договорились идти в очередь в половине пятого утра, не дожидаясь окончания комендантского часа. У соседки к тому же, как работающей в смену, был специальный пропуск. В этот день Женька против обыкновения с завода не пришел, и Лида за него не так сильно переживала.

Когда назавтра еще почти ночью мама с Лидой в темноте ощупью спускались по лестнице, на площадке второго этажа они наткнулись на лежащее тело. Лида чиркнула спичкой и увидела своего сына Женьку. Он лежал у двери их бывшей квартиры, привалившись к стене. Уже холодный. В руке сжимал нитяную сумку с баночкой супа.

Лида так завыла, что проснулись все.

Потом она с маминой помощью затащила Женьку в их нежилую теперь квартиру и… пошла стоять в очередь.

Лида попросила папу отвезти Женьку на сборный пункт. За это она дала мне хлеба, полученного по Женькиной карточке.

Через несколько дней умерла одна из Женькиных сестричек. Просто незаметно уснула. Насовсем. Лида завернула ее в простыню и положила ближе к окну, где холодно, в той же комнате, где лежала вторая, еще живая девочка. Совсем отупевшая от горя, она сказала: «Подождем. Скоро умрет и вторая, сразу обеих и отвезем».

Я больше не ходила в их комнату.

Вторая девочка умерла дней через пять. Лида уже не плакала. Она опять попросила моего отца отвезти близнецов на сборный пункт, а мне отдала их хлеб за два дня.

Домой папа притащился еле-еле. Он сидел и плакал. Тридцатишестилетний мужчина, который похоронил уже многих родственников, отмечая в своем дневнике каждую следующую смерть даже с каким-то эпическим спокойствием, теперь никак не мог унять слез и все твердил: «Я многих отвозил туда, но

оставлять этих двух ангелочков среди гор трупов — это невыносимо!» А я все повторяла, как моя бабушка: «Будь проклят Гитлер за наши мучения!»

Перелом

Рассказывая трагическую историю нашей соседки Лиды и ее детей, я забежала по времени несколько вперед. Если же проследить по папиному дневнику жизнь нашей семьи со дня смерти дяди Матвея, то оказывается, что следующие семь-десять дней были еще тяжелее, чем все предыдущее время, хотя казалось, что хуже быть не может:

«14/I 1942 г. Сегодня все нетерпеливо ждали вчерашней газеты, где опубликована беседа т. Попкова о продов<ольственном> положении Л<енингра>да. Много было слухов о прибавках, но в действительности утешительного мало. Видимо, мы вступаем в самую критическую фазу нашего существования».

Попков был председателем исполкома Ленгорсовета. По обязанностям и полномочиям это вроде теперешнего мэра. Конечно, все ждали от него благой вести об увеличении продовольственных норм, но надежды не оправдались.

«15/I 1942 г. Питания становится все меньше и меньше. Сегодня выходной день. Пошли с Верой на Ситный <так!> рынок что-нибудь обменять. Выменяли за 2 пачки табаку, 5 пачек папирос и 2 кор<обка> спичек около 1 кгр кислой капусты (хряпы) и около 1 кгр соленых помидор».

Хряпой назывались наружные зеленоватые капустные листья, которые обычно в пищу не идут, а скармливаются скотине. Но в той ситуации это была не просто еда, а праздничное угощение.

«16/I 1942 г. День моего рождения. Несмотря на то что я съел сравнительно много, чувствую большую слабость в ногах и руках и какую-то вялость. Продуктов не дают с начала месяца. Купил сегодня на рынке какого-то клея для студня, но боимся есть. Приходила Мария. Вениамину очень плохо. При отсутствии питания у него понос, видимо, т. н. голодный. Дело может кончиться плохо. Ложимся спать последнее время в 6–7 час вечера. Во-первых, чтобы экономить силы, во-вторых, чтобы экономить керосин».

Вениамин, муж бабушкиной младшей сестры Марии, здоровяк, спортсмен, профессиональный футболист, не выдержал голода и умер в начале февраля. В это время смерти пошли вереницей. Ведь у бабушки было два брата и семь сестер, и, кроме самой бабушки и ее сестры Марии, умерли все, кто не уехал в эвакуацию, и их родственники. Остались живы уехавшие две сестры и брат.

В магазинах по-прежнему почти никакой выдачи не было, и

родители из последних сил пытались сохранить жизнь нашей семьи.

«17/I 1942 г. Сегодня Вера получила 2 кгр пшена, а днем за 2 пачки папирос и 75 гр хлеба выменяли около 1 кгр капусты и 5 шт<ук> сол<еных> помидор. <…> Идет перерегистрация карточек. Надеемся, что после перерегистрации что-нибудь будут давать в магазинах.

18/I 1942 г. Сегодня объявили о новой выдаче крупы и сахара с 19/I. Писать трудно, т. к. опухла рука, по-видимому, застудил. На рынке купили 450 гр. хлеба за 180 руб. Второй день кушаем студень из костяного клея.

С горчицей и перцем есть можно, но едим только я и отец, остальные боятся.

Все надеются на прибавку с 21/I, хотя также надеялись и с 5 и с 10 и с 15, но безрезультатно.

Ежедневно по улицам вереницы гробов, а теперь даже валяются трупы, хотя и не так много.

19/I 1942 г. День прошел ничем не замечательный, за исключением того, что выдали на Ирину <карточку> 75 гр сливочного масла.

20/I 42 г. Купили на рынке 250 гр льняного вареного масла за 100 руб.

С нетерпением ожидаем завтрашнего дня».

День 21 января действительно оказался знаменательным днем. Утро как будто не сулило ничего хорошего:

«21/I 42 г. Долгожданной прибавки сегодня не получили».

Но вот радостное продолжение записи, сделанное в конце дня:

«Вечером с удовольствием съел свои 50 гр масла с хлебом и почувствовал значительное оживление. Даже спать легли в 8 ч вечера вместо 6-ти. (Выдачу масла получили вечером)».

Трудно даже представить, какое это было счастье для исстрадавшихся и изголодавшихся людей: получить наконец по 50 гр масла, вкус которого уже успели забыть. Папа даже от такого ничтожного количества почувствовал прилив бодрости. Но по-настоящему счастливой оказалась одна случайная встреча, которая произошла на следующий день.

На Сытном рынке, пытаясь купить или выменять какие-нибудь продукты, мама встретила женщину, которую знала с давних лет, тоже колпинскую жительницу, — они учились в одной школе. Оказалось, что эта мамина знакомая была теперь в близких отношениях с офицером интендантской службы. Для нее это было просто спасением, ведь продовольственные запасы Ленинградского фронта находились в городе.

Не думаю, что эта женщина питалась теперь так же хорошо, как до войны, но уж точно не голодала. Зная, что моя мама в прежние годы одевалась модно и дорого, она предложила менять вещи на продукты только с ней.

И надо сказать, что она не жадничала и менялась по тогдашнему времени весьма щедро, а мама без сожаления расставалась со своими вещами, получая взамен для всех нас возможность выжить. Обмен теперь происходил не на рынке, а у нас дома, что было удобно нам и гораздо безопаснее для нее, учитывая то, откуда берутся эти продукты.

Из опасения, что дневник может попасть в чужие руки, соответствующие записи в нем сделаны очень конспиративно. Не указано ни имя этой женщины, ни откуда она взялась. Тем более ни слова о происхождении продуктов.

«22/I 42 г. Умер Виктор — мамин брат. Приходили Вера и Люся, просили помочь сделать гроб. Говорят, что умирает Вениамин. Его брат Александр на днях умер. Ходили с Верой на рынок, ничего не выменяли. <…> Что будет дальше? Неожиданно вечером пришла женщина, и удалось обменять за 3 м<е>т<ра> шелкового полотна 1 кгр полубелой муки и 1 кгр гречи. Это уже 2–3 дня жизни».

Тогда мы еще не понимали, что с появлением этого источника дополнительного снабжения черта, за которой кончается жизнь, от нас немного отодвинулась.

А вокруг продолжалась все та же жизнь на грани смерти. Вера, теперь уже вдова Виктора, папиного дяди, через несколько месяцев после смерти мужа лишилась и дочери. Люсе было 14 лет. Люся пропала весной 1942 года. Ушла в булочную за хлебом и не вернулась. В их районе в этот день не было обстрелов. Мать ходила на ближайшие пункты по сбору трупов, но Люсю там не нашла. Поскольку тогда случаи людоедства и поедания трупов не были редкостью, предполагать можно самое страшное.

Еще несколько страничек из дневника:

«23/I 42 г. Обычный день. Холод, голод, темнота, ожидание выдач и вереница гробов.

24/I 42 г. Наконец прибавка. Рабочим — 400 гр хлеба, служащим — 300 гр и иждивенцам — 250 гр, и, кроме того, хлеб стал полубелый.

Привезли с Верой с завода немного дров. Мороз –34° и одновременно ледяной холод. Обменяли брусничный шерст<яной> материал 4 м<е>т<ра> на 11/2 кгр крупы, 100 гр кофе и 100 гр шоколада».

Папа пишет «обменяли», не уточняя с кем и как. А это была все та же нечаянно встреченная колпинская знакомая. По-моему,

ее звали Клавой. Ее младшая сестра (кажется, Зина) работала в офицерской столовой. После этого обмена мама была такой веселой, какой я ее уже много месяцев не видела. Ее совершенно не смущало то, что она отдала Клаве свое красивое, сшитое в модном ателье пальто, которое мне очень нравилось, и взяла у нее взамен какой-то старомодный черный плюшевый жакет на вате. Такие жакеты назывались салопами.

Конечно, хлеба — основы нашего тогдашнего рациона — было ничтожно мало. Да и то случались многодневные перебои:

«27/I 42 г. Начались перебои в снабжении хлебом из-за недостатка воды. Опять мороз.

28/I 42 г. Вера простояла в очереди с 5.30 утра до 23.00 вечера на морозе и хлеба не получила».

Не могу понять, как мама это выдерживала! И ведь не она одна — громадная очередь стояла на морозе восемнадцать часов кряду и не расходилась. А потом приходилось возвращаться домой ни с чем.

«29/I 42 г. Хлеба опять не получили. У знакомых заняли 800 гр. Завтра обещают достать по карточкам. Отец почти совсем поправился, но говорит плохо — не все слова произносит.

30/I 42 г. Наконец через знакомых получили хлеб. Мороз сегодня меньше, ок < оло > 12°».

Конечно, «знакомые», которые дали хлеба взаймы и помогли отоварить хлебные карточки, это все те же Клава и ее сестра. Пока еще папа не верит, что наше продовольственное снабжение через Клаву станет довольно регулярным. Но она поддерживала нас все время, вплоть до дня эвакуации из Ленинграда.

Остался последний зимний месяц, и слабо забрезжил огонек надежды:

«1/II 42 г. Наконец февраль. Можно считать, что тяжелейшая зима (по холоду и голоду) перевалила на вторую половину. Сходили с Верой на рынок, сменяли вельветовое платье на 250 гр хлеба и 1 пачку папирос, для дальнейшего обмена. Меня все время гложет вопрос: проживем ли февраль. Особых улучшений с питанием не видно, кроме слухов.

2/II 42 г. Опять улыбнулось счастье. Удалось обменять мамино коричневое пальто и ручные часы Матвея на 3 кгр риса, 1 кгр хлеба, 200 гр масла и 100 гр шоколада и должны еще принести 11/2 кгр мяса. Опять подъем настроения. Вера получила по карточкам 600 гр пшена. Я принес с завода новую печь-времянку и ведро».

Конечно, хорошо, что печку удалось заменить, потому что прежняя, сделанная из тонкого железа, успела прогореть. Но вот второе ведро для воды было просто колоссальным благом. Ведь

каждый поход за водой стоил громадных усилий. Два ведра как раз умещались на санках, так что, сходив один раз, можно было обеспечить семью водой на сутки. И не надо больше ковырять снег во дворе. Другая проблема — топливо. С этим завод помогал. Все, что можно было пустить на дрова без ущерба для производства, распиливали и раздавали сотрудникам.

«3/II 42 г. Ездили с Верой на завод за дровами. Мороз немного сильнее, ок<оло> 15–16°. Очень тяжело ходить, хотя питаемся сравнительно прилично, но нет жиров.

4/II 42 г. Опять сходили с Верой за дровами. Привезли довольно полные саночки. Последние два дня начались опять арт<иллерийские> обстрелы. <…>

11/II 42 г. Сегодня особенный день. Новая прибавка хлеба. Рабочим — 500 г, служ<ащим> 400 г, ижд<ивенцам> 300 г. Кроме того, в столовой за суп стали вырезать 12,5 гр вместо 25 гр и за кашу 25 гр вместо 50 гр и суп стал значительно гуще».

За еду в заводской столовой тоже вырезали талоны из продовольственной карточки. Судя по тому, что вырезать талонов стали в два раза меньше, а порции сделались даже гуще, можно сделать вывод, что норма питания для работающих ленинградцев (по крайней мере, по крупам) удвоилась.

И снова радость:«12/II 42 г. С утра выдали в счет февраля (первый раз) крупу. Раб<очим> — 500 гр, служ<ащим> 375 гр, детям 300 гр и ижд<ивенцам> 250 гр. Вера получила пшено — 1675 гр.

13/II 42 г. Сегодня объявили норму на сахар в счет февраля, но Вера еще не получила. <…> Я через одну знакомую купил 345 гр шпика по 1600 р кгр. Трудно описать, с каким наслаждением мы его ели. Это кушанье, которое мы раньше не употребляли, оказывается, вкуснее любого торта».

Неудивительно, что скромный кусочек свиного шпика вызвал у нас такой восторг, ведь в нашем голодном рационе жиров катастрофически не хватало. Вот папа купил кусочек на вырученные за одежду деньги, а больше на такие покупки денег нет — в сберкассе нет, и зарплату не выдают. Хватило бы только денег отоварить карточки. Вся надежда на натуральный обмен, пока есть что менять.

«14/II 42 г. Сегодня выдали мясо. Наконец сегодня после долгого перерыва в ЖАКТе пошла вода. Обещают завтра дать свет.

На Вас<ильевском> остр<ове>, около нашего завода, был большой арт<иллерийский> обстрел. <…> много жертв».

Читая теперь отцовский дневник, я вижу, что в середине февраля 1942 года в жизни нашей семьи наметился перелом.

Тогда нам самим это было еще мало заметно. Вокруг еще смерти и смерти — от голода и под снарядами, — а все-таки забрезжила слабая надежда выжить. Даже дедушка, на удивление всем, стал потихоньку поправляться.

Дали воду. Правда, не в квартиры — ведь все трубы в доме замерзли и полопались, — а в ЖАКТ. Наш ЖАКТ находился во дворе нашего дома. Вот туда-то и дали воду. Теперь по крайней мере не надо будет ходить на Неву — большое облегчение.

С этого времени мы перестали медленно умирать (хотя и жить по-настоящему еще не начали).

«17/II 42 г. Ездили за дровами. Заходил на завод М. Гельца насчет устройства поближе к дому. На рынке купил 400 гр хлеба за 120 р. Хлеба продают много, но денег нет».

У папы опухли ноги и было трудно ходить. Поэтому он и хотел перейти на другой завод того же объединения, но поближе к дому. Уже два месяца не выдают зарплату, каждая копейка на счету, а выгодно обменять мамин каракулевый жакет никак не получается:

«18/II 42 г. Опять носили карак<улевый> жакет на рынок, но пока не обменяли. Морозы продолжают держаться ок<оло> 16°, а на солнце 10°. По улицам продолжают валяться трупы. Сегодня, наконец, выдали зарплату за 1-ю половину декабря».

Получив долгожданные деньги, папа на следующий же день пошел на рынок покупать то, чего нам больше всего в это время не хватало, — жиры. Цены, правда, «бешеные»:

«19/II 42 г. Сегодня купил 300 гр шпика за 480 руб. Первый день чувствовал себя бодрее».

Нетрудно подсчитать, что килограмм шпика стоил на рынке 1600 рублей, а килограмм хлеба — 3000 рублей. Папина зарплата, как главного инженера, составляла 1200 рублей. Понятно, что, получив во второй половине февраля за первую половину декабря около 600 рублей, он смог купить только небольшой кусочек шпика, — ведь еще нужно было оставить деньги, чтобы отоваривать карточки.

А что же было с теми беднягами, у которых не было таких зарплат и нечего было обменять? Поэтому «по улицам продолжают валяться трупы».

А мама почти каждый день, как проклятая, уходила стоять в очередях в булочную или в продовольственный магазин. И каждый вечер все ждали с надеждой, будет ли объявлена по радио на завтра какая-нибудь выдача. Ведь мы уже знали, что по Ладоге в Ленинград везут продовольствие.

«24/II 42 г. <…> Вечером получили от д<яди> Сени посылку — сухари. Пришлось идти за ней на Петровский остров».

Если бы на Большой земле знали, какой голодный мор бушует в Ленинграде, то наверняка старались бы помочь своим родным и просто соотечественникам, отрывая от себя далеко не лишние куски. Ведь отправляли же люди посылки на фронт совсем незнакомым солдатам. Но власти скрывали от страны ужасы блокадного существования. Как же дядя Сеня узнал, что мы голодаем? Рассказала Ниночка, которую дядя Вася сумел эвакуировать в Боровичи в конце января — начале февраля. Вот и послал дядя Сеня посылку. А почта работала исправно.

Пока еще как основные события жизни папа отмечает выдачи продуктов и выгодные обмены одежды на еду. Но уже в начале марта появляются другие записи. Стоило голоду чуть-чуть отступить, и папа, инженер до мозга костей, несмотря на слабость, нелады с сердцем и отекшие ноги, начинает хлопотать о внедрении газогенераторов, которые позволили бы компенсировать недостаток горючего для заводских силовых установок. Вообще жизнь, которая чуть теплилась в городе и в каждом ленинградце, начинает потихоньку оттаивать и пробуждаться, хотя это еще мало заметно.

«28/II 42 г. Был в стационаре у Немчина. Спрашивали в принципе: мое согласие на занятие должности главного инженера <Ленметрем> союза. Угостили киселем. Встретил там Ф. В. Филиппова. Узнал, что умер С. П. Коптелов. Наконец кончился еще один зимний месяц».

К смерти все так привыкли, что очередной уход кого-то из знакомых просто констатируется. А «угостили киселем» звучит почти как «коньяком». И тем не менее зима кончается, и можно чуть-чуть вздохнуть и даже подумать о будущем. Вот и папе предложили подумать о должности главного инженера объединения. А в первый день весны — еще одна примета постепенного возвращения признаков нормальной жизни:

«1/III 42 г. Выходной. Открылась в доме парикмахерская — выбрился и выстригся.

2/III 42 г. Давно не объявляли никаких выдач. Вообще за последние дни стало туговато с выдачей. Но на заводе значительно улучшилось питание, хотя и недостаточно».

Конечно, недостаточно. Судя по февральским записям, нормы выдачи, даже со всеми прибавками, оставались мизерными. Такой рацион и для сытого человека, страстно желающего похудеть, был бы голодной диетой. Что уж говорить о тех, кто не первый месяц голодает. Даже по прошествии многих месяцев после эвакуации из Ленинграда папа не мог избавиться от привычки после еды сгребать со стола в ладонь хлебные крошки и отправлять их в рот. Это происходило помимо воли, и он ничего не мог с этим

поделать.

«3/III — 10/III 42 г. Давно не записывал, т. к. страшно много было беготни с проектом газогенераторных станций. За это время сменяли Верин костюм за 6 кгр крупы, 1 кгр хлеба и 200 гр русского масла. С 7/III на солнце стало подтаивать. Стало теплее. <…>

13/III 42 г. Сегодня оформляли мое назначение гл<авным> инженером Ленметремсоюза».

Занятия и находки

Сколько себя помню в детстве, меня всегда преследовал страх потерять маму. Я росла в большой семье, и если мама уходила куда-нибудь, то всегда еще кто-то из взрослых оставался дома и я не была одна. Все равно я не могла удержаться от того, чтобы не похныкать на тему: «Где моя мама?»

А теперь, когда мама почти каждый день в мороз и темень уходила стоять в очередях и каждую минуту мог начаться артобстрел, я действительно могла ее потерять навсегда. Теперь, вспоминая нашу блокадную жизнь, я понимаю, что без мамы я, папа, бабушка и дедушка почти неминуемо погибли бы.

Я как бы вижу со стороны девочку, одетую во множество одежек, которая отгибает уголок одеяла, висящего на окне, и смотрит на улицу — не идет ли мама?

Когда мама и папа хоронили дядю Матвея и отсутствовали два дня, на второй день моего ожидания родителей был артобстрел. Мы уже давно перестали спускаться в бомбоубежище — как-то привыкли. Бабушка не могла отогнать меня от окна, и я видела, как падают раненые, а может быть, убитые. Странно, но мне не было страшно. К тому же обстреливалась противоположная сторона улицы, а нашу сторону обстреливали только с финской стороны, что бывало довольно редко. Я убедилась, что мамы и папы на улице нет. Значит, они живы.

Потерять папу я почему-то не боялась. Мне казалось, что он такой большой и сильный, что с ним ничего не может случиться. А мама такая слабая и беззащитная. И если она ушла одна, то за нее некому будет заступиться.

И много позже, став уже взрослой, куда бы я ни уезжала, только тогда была спокойна, когда мне удавалось хотя бы через день позвонить маме и услышать ее голос.

Но вернемся в 1942 год. В эту голодную и холодную зиму рядом со мной не было детей хотя бы приблизительно моего возраста. Играть было не с кем, и, чтобы отвлечься от чувства голода и от тревожных мыслей, нужно было находить себе занятия самой.

В квартире обнаружились старые комплекты детских журналов «Еж» и «Чиж». Я их прочла все по нескольку раз. Читала я хорошо и читать любила, но у меня была только одна детская книжка, купленая осенью, — «Принц и нищий» М. Твена. Разумеется, она тоже была читана-перечитана. Вся моя библиотека осталась в Колпине.

Все мои многочисленные куклы и игрушки были там же, где

и книжки. Оставались только маленькие куколки Пат и Паташон и две куклы, Пупс и Маргарита, купленные осенью на Невском вместе с банкой джема и коробкой конфет. Но играла я с ними мало. Ведь они должны были ходить друг к другу в гости, а гостей угощают. В это играть было просто невозможно. Есть хотелось все время. Сосущее чувство голода не покидало ни на минуту, и надо было придумывать занятия, которые бы отвлекали от мыслей о еде.

Жена дяди Васи научила меня вязать. Это занятие мне очень понравилось, и я быстро овладела основными приемами. Настоящих ниток не было, поэтому я распускала свои рваные чулочки, которые уже нельзя было починить, и вязала куклам одежки. Это было так интересно, что даже голод на время забывался. Умение вязать мне очень пригодилось в эвакуации.

Когда мы только переехали в квартиру дяди Сени на Кировском проспекте, я обследовала все шкафы, буфеты, полки и тумбочки в поисках чего-нибудь съедобного. На вешалке, в кармане дяди-Васиной куртки, нашла фантик от довоенной конфеты «Чио-Чио-сан». Внутренняя обертка из фольги сохранила запах конфеты, и на ней еще были видны следы шоколада.

Я сосала эту обертку дня два. Потом начала сосать большую бабушкину янтарную бусину — она напоминала мне карамельку.

В аптечке обнаружился пузырек касторового масла. Это было очень кстати. Жиров не было никаких, и бабушка жарила на касторке лепешки из кофейной гущи. В той же аптечке оказался глицерин. Папа, хорошо знавший химию, сказал, что глицерин относится к спиртам и очень калориен. Им нельзя отравиться и можно в небольших количествах употреблять в пищу.

И мне стали давать на ночь по маленькой кофейной ложечке глицерина. Он оказался сладким и густым, как сироп. Каждый вечер я требовала неукоснительного исполнения этого ритуала. Но вот однажды папа забыл дать мне глицерин, а коптилку уже погасили. Я, конечно, стала ныть, и папа, не зажигая коптилку, почти на ощупь (буржуйка еще не остыла, и из ее топки шел слабый свет) налил мне ложечку глицерина. Я его проглотила и вдруг страшно заорала. Вкус был совершенно незнакомый и неприятный, и мне показалось, что я отравилась.

Зажгли коптилку и посмотрели, какой папа взял пузырек. Оказалось, что пузырек такой же, но в нем было камфарное масло. Дали мне воды, успокоили, что я не отравлюсь, ругали папу, ругали меня за мои капризы. Я действительно не отравилась, но было очень противно.

Я с детства не люблю перебирать крупу, и вот почему. Однажды уже в январе мама выменяла на рынке что-то из своих

вещей на 1 кгр неободранного овса и кусок жмыха. Овес варили вместе с чешуйками и потом эту кашу ели, иногда даже не выплевывая чешуек. А мне давали задание перебирать и шелушить руками по зернышку, пока не наберется моя порция — маленькая кофейная чашечка. Я чистила и загадывала: «Вот если я за полтора часа начищу полную чашечку, мама вернется живая». Очень хотелось грызть даже сырой овес и нечищеный, но меня останавливала необходимость выполнить зарок.

Когда в начале марта дядя Вася с женой эвакуировались, мы заняли их комнату, потому что в одной комнате нам впятером было тесно. Первым делом я обследовала дяди-Васину аптечку. В ней осталось мало полезного, но все-таки я кое-что нашла, и опять сладкое. Это был цилиндрический пенальчик размером с мой указательный палец, и на нем написано «Сен-сен». Теперь, в эпоху жевательной резинки, «Рондо», «Ментоса» и прочих освежителей дыхания, такой продукт, наверное, не выпускают, а раньше это было средство против запаха изо рта для курильщиков.

«Сен-сен» представлял собой маленькие продолговатые крупинки, похожие на мышиный помет, только серого цвета. Они были сладкие на вкус и отдавали мятой. Я это счастье (всего граммов десять) растянула почти на целую неделю. Сама себя удерживала, чтобы не съесть все сразу.

А потом случилась еще одна неожиданная счастливая находка. Дело в том, что я очень любила рисовать. Это занятие мне нравилось даже больше, чем вязанье. Но вся бумага, как я ни экономила, давно закончилась. Когда уехал дядя Вася, я все ходила около его большого, с двумя тумбами письменного стола, желая туда залезть в поисках бумаги. Но я знала и меня еще раз специально предупредили, что мы живем в чужой квартире и чужие вещи брать и портить нельзя.

Однажды бабушка, увидев, с какой жадностью я смотрю на лежащий на этом столе маленький листочек бумаги с какой-то памяткой, мрачно сказала: «Что ты мучаешься. Бери и рисуй и еще посмотри, может, в ящиках бумага осталась. Ничего в этом страшного нет. Дядя Вася все важные документы забрал, и вообще мы все скоро помрем».

Последнее бабушкино замечание я пропустила мимо ушей, а разрешению залезть в стол очень обрадовалась. Какие-то ящики были заперты, а верхний правый был открыт, и в нем как раз лежали чистые листы бумаги. Я обрадовалась и тут же стала рисовать. И бабушка была рада, что я не прошу есть и не причитаю: «Где же мама? Что с ней?»

Однако стопка чистой бумаги оказалась небольшой, и я

решила проверить, может быть, в глубине ящика есть еще или хотя бы найдется бумага, исписанная только с одной стороны. Вынула всю стопку и — о, радость! — вдруг на дне ящика, среди скрепок, ластиков и табачных крошек, увидела три настоящих окаменелых ириски и штук пять маленьких черных сухариков. Они лежали здесь с незапамятных времен, когда дядя Вася, пытаясь бросить курить, сосал их, чтобы отвлечься и перебить тягу к табаку. Сухари были замурзанные, в табаке, но из настоящего довоенного ржаного хлеба!

Кое-как стряхнув табачные крошки, я тут же засунула один сухарик в рот. Потом испугалась: это ведь чужое — значит, я украла. Что делать? Продолжая сосать сухарь, пошла скорей к бабушке и рассказала ей о своем затруднении. Бабушка не была такой строгой моралисткой, как мама, хотя не сомневаюсь, что мама, будь она в этот момент дома, тоже разрешила бы мне воспользоваться этой находкой.

Мы с бабушкой как могли очистили сухарики и ириски от мелкого мусора, который всегда бывает в письменном столе. Ириски бабушка расколола сахарными щипцами на четыре части каждую, чтобы на дольше хватило. Теперь я каждый день сосала по кусочку ириски и по одному сухарику. Хотелось сразу разжевать и проглотить, но я нарочно сосала подолгу. Тогда казалось, что у меня полный рот замечательного ржаного хлеба. Это было восхитительное ощущение.

Конечно, мама в этот раз воздержалась от педагогических наставлений о том, что нехорошо брать чужое.

Эвакуация

Не помню, как нам сообщили об эвакуации. Это произошло в конце марта и было для нас полной неожиданностью. Папа только-только стал осваиваться в новой должности главного инженера объединения, а тут, как снег на голову, — предписание на эвакуацию. И время на сборы отпущено самое минимальное.

Накануне отъезда к нам пришла бабушкина сестра, тетя Маруся, и они с мамой и бабушкой всю ночь при свете коптилки упаковывали вещи. Много взять с собой мы не могли, да и не осталось почти ничего, особенно из маминой одежды. Зашивали в тюки одеяла, подушки, в чемоданы складывали постельное белье.

Папа разбирал документы и фотографии. Отобранный в дорогу архив занял небольшой чемоданчик, который поручили мне.

Под утро пришли мамины знакомые, те самые сестры Клава и Зина, которые, выменивая вещи на продукты, помогли нам выжить в самые трудные дни. Старшая, Клава, сказала маме: «Вера, тебе, наверное, неприятно видеть на нас свои вещи?» На что мама совершенно искренне ответила: «Да что ты! Я ноги тебе готова целовать. Если бы не ты, нас давно бы уже не было». Мама отдала ей еще что-то из вещей, а взамен мы получили полбуханки хлеба на дорогу.

Обе сестры и тетя Маруся помогли нам дотащить вещи до Финляндского вокзала. Это было 31 марта 1942 года.

Во все время сборов дедушка, который только-только начал вставать после инсульта, очень нервничал и все спрашивал: «Вы меня берете? Я сам дойду». Он почему-то очень боялся, что его оставят. Все ему объясняли, что именно из-за него нас вывозят, что это его не забыли, так как он крупный специалист по производству брони для танков, орденоносец. Его ждут в Челябинске, куда эвакуирован Ижорский завод, чтобы использовать его опыт. Он успокаивался, но ненадолго. Потом опять начинал бормотать, что хочет увидеть Наташу (к этому времени мы получили телеграмму о том, что у тети Юли в Челябинске родилась дочка, которую назвали Наташей).

Когда утром, еще в темноте, мы вышли на замерзшую, заваленную снегом улицу, дедушка наотрез отказался сесть на санки, чтобы его довезли до вокзала. Он стал сердиться, стучать палкой, на которую опирался, и горячо доказывать (правда, не очень внятно), что дойдет сам. И действительно, сам пошел (откуда только силы взялись?), в тяжелом зимнем пальто и валенках дяди Васи, которые ему были велики. А ведь он до этого

пролежал два месяца.

И сколько потом папа, мама и бабушка ни уговаривали деда хотя бы часть пути проехать на санках, он так и не согласился, сердито показывая пальцем на меня: дескать, везите ребенка. А жить деду оставалось только восемь дней.

Останавливаясь, чтобы передохнуть и собраться с силами, мы наконец дошли до вокзала. Распрощались с провожатыми и забрались в вагон, такой промерзший, что на улице казалось теплее. Может быть, так оно и было, потому что вышло солнце и мороз ослабел. Этот ледяной поезд, двигаясь то быстрее, то медленнее, с остановками, довез нас наконец до станции со странным названием Борисова Грива. Здесь находился эвакопункт. Я нашла это место на современной карте, оно находится близко от станции Всеволожская.

Началась посадка в грузовики. Залезать в кузов было очень трудно. Задний борт грузовика откинут. К его краю прибита скоба, на которую надо было поставить ногу и, держась за боковой борт, занести другую ногу в кузов. Я не заметила, как погрузили дедушку, но видела, что папа никак не мог подсадить бабушку в кузов. Ведь она первый раз за всю зиму вышла из дому и очень ослабела и от недоедания, и от малой подвижности.

Как-то папе это все-таки удалось, но грузовик уже оказался полон — папе едва хватило места. Нас с мамой загрузили на другой. Наши узлы и чемоданы тоже попали к нам. Так мы и поехали через Ладогу порознь и не знали о судьбе друг друга всю страшную дорогу.

В песне поется про родную Ладогу, которая для осажденного Ленинграда стала Дорогой жизни. Но для многих она оказалась дорогой смерти. Некоторые до крайности истощенные люди умирали в пути от переутомления, не доехав до другого берега. Однако гораздо больше потерь было оттого, что фашистская авиация бомбила дорогу. И машины вместе с людьми уходили под лед.

На берегу Ладожского озера стоит памятник той ледовой дороге, но я считаю, что прежде всего нужно было бы поставить памятник всем водителям, которые, спасая нас, сознательно шли на смертельный риск. Вряд ли тогда они сами считали себя героями, но за ту работу, которую они выполняли, не раз и не два проезжая эту дорогу, нужно было бы давать и ордена и звания героев.

Еще когда мы были на берегу, я заметила, что во многих местах на льду озера были большие участки, покрытые водой. Они выделялись, как темные пятна на белом фоне. Где-то эти пятна закрывали и дорожную колею.

Я спросила маму: «Как же мы поедем по воде?» Мама ответила: «Вода только сверху, а под ней крепкий лед. Шоферы знают, где можно проехать, и все будет хорошо».

Пока мы грузились, стемнело. Где-то подали команду, и колонна грузовиков двинулась. Машины начали потихоньку съезжать на лед.

До сих пор всю нашу поездку по Ладоге я вижу как в кино. Тента над кузовом грузовика нет. Вокруг совсем темно. Я лежу на спине на каких-то тюках и не могу пошевелиться, потому что у меня на груди и даже на горле, мешая дышать, лежит и пищит куль с чьим-то ребенком, завернутым в толстое одеяло. Моя мама все время пытается его поддерживать, чтобы он меня не придушил.

На ноги мне то и дело опрокидывается ручная швейная машинка в фанерном футляре. Как только у людей хватило сил тащить с собой такую тяжесть? Придавленные ноги начинают неметь. Я прошу убрать машинку. «Куда же я ее уберу?» — отвечает мне женский голос. Другой голос, уже мужской, говорит: «А вообще нечего ее тащить. Тут людям не повернуться. Нужно ее выкинуть». Я согласна с этой резолюцией, но никто ничего не делает, и я продолжаю лежать в той же позе, поэтому вижу только небо.

А в небе начинается страшное огненное представление. Чернота надо мной почти все время освещается, то трассирующими очередями, то прожекторами с берега, которые нашаривают в небе немецкие самолеты, а когда это удается, по ним начинают бить зенитные орудия. С самолетов сбрасывают осветительные ракеты, которые повисают над нами, как люстры, и медленно опускаются на парашютах, освещая все холодным и нестерпимо ярким светом. Хочется отвернуться, спрятаться куда-нибудь, но я не могу даже пошевелиться.

От стрельбы стоит постоянный грохот. Иногда раздаются особенно сильные взрывы, которые перекрывают остальную канонаду: это совсем близко от нас взрываются фугасные бомбы. Тогда в небо поднимается такой столб воды, будто среди белой замерзшей Ладоги вдруг забил петергофский фонтан «Самсон». Машина то мчится, завывая мотором, чтобы не попасть в возникшую полынью, то резко тормозит, чтобы обмануть бомбардировщик. Мама наклоняется ко мне, и я слышу, что она молит Бога, чтобы он нас не оставил. Я тоже начинаю просить спасти нас, а ног уже совсем не чувствую.

Ребенок на моей шее, который иногда немного утихает, с каждым новым взрывом начинает кричать громче. Кажется, что вот сейчас следующий снаряд попадет прямо в нашу машину и

все кончится. И нет конца этой страшной дороге.

Однако через какое-то время я почувствовала, что стало тише, и оказалось, что мы едем уже не по льду, а по земле. Мы выехали за кольцо блокады. Машина, на которой был папа, приехала на сборный пункт раньше, и там все были живы. Папа помог нам вылезти, но я не могла идти — ноги не слушались. Мама кое-как дотащила меня до какого-то барака, где было почти тепло, и, посадив прямо на пол, стала растирать мне ноги. Тем временем рассвело.

Папа принес откуда-то две луковицы и большой кусок хлеба. Он тут же разрезал одну луковицу пополам и разрешил мне съесть половину: «Больше пока нельзя — начнется понос». Никогда, ни от какого яблока я не испытывала такого удовольствия, как от этой луковицы. Потом папа принес талоны на питание. На пути в тыл по ним на остановках выдавали продукты. Почему-то мы эти талоны не использовали все, и они у меня до сих пор сохранились.

Вскоре подали эшелон, состоящий из товарных вагонов. В середине вагона была большая дверь, которая откатывалась вбок на колесиках. По обе стороны от двери были сколоченные из досок нары-полки в два этажа. На них мы и разместились. Вагон был промерзший. От дыхания людей на стенах сразу же образовался иней. Посередине вагона была печка-буржуйка. Если ее топили постоянно, в вагоне становилось все-таки теплее, чем на улице. Здесь же в дощатом полу было проделано отверстие — вагонный туалет. Никакой загородки вокруг этого туалета не было. Висела какая-то тряпка, которая почти ничего не закрывала. Но все были настолько измучены пережитым, что на эту мелочь почти никто не обращал внимания — в дороге тоже надо было выжить.

Еще до отправления эшелона люди в белых халатах принесли в корзинах и раздали нам эвакуационные пайки. Все набросились на еду, но папа не дал нам съедать все, а следил, чтобы мы ели понемногу: «Отвыкший от нормальной еды желудок может не выдержать, — объяснял он. — Можно даже умереть от заворота кишок». Так оно и случалось нередко.

Когда поезд отходил от станции, мы увидели несколько трупов, сложенных у станционного строения. Это, наверное, были те, кого сняли мертвыми с грузовиков. Потом, по мере нашего продвижения на восток, из нашего вагона и из других вагонов на каждой станции выгружали умерших по дороге ленинградцев. А живые ехали дальше, и многие даже точно не знают, где похоронены их близкие. Так сняли с эшелона на какой-то станции маму моей подруги Нины Дорошкевич, а она с бабушкой

продолжила свой путь к жизни.

На станциях мы получали эвакуационные пайки, набирали кипяток. Стояли очень подолгу. Навстречу шли воинские эшелоны с такими же, как наш, товарными вагонами и открытыми платформами, на которых громоздилось что-то, закрытое брезентом. До Свердловска (теперь Екатеринбург) мы ехали целую неделю.

В Свердловске бабушка и дедушка от нас отделились. Они поехали в Челябинск к тете Юле. Это было 7 апреля. А уже 8 апреля, по прибытии в Челябинск, дедушку в бессознательном состоянии сняли с поезда и повезли в больницу. До больницы не довезли — он умер по дороге, не приходя в сознание, так и не увидев свою новую внучку Наташу, которую ему так хотелось понянчить.

Может быть, останься дед с нами, был бы жив. Дело в том, что еще в Свердловске им выдали паек, в который входила селедка, и дед ее сразу съел. Пока мы были вместе, папа следил за всеми нами, чтобы мы ели лучше часто, но понемногу и не наваливались на жирное и соленое. А тут проследить было некому. У деда после инсульта появилось что-то детское в поведении, и бабушку он совсем не слушался. Начался безудержный понос, а в результате — резкое обезвоживание организма. Бабушка даже воды принести не могла, потому что ни вылезти из вагона, ни забраться обратно без посторонней помощи она была не в состоянии.

Почему-то в свидетельстве о смерти деда ее причиной назван миокардит (насколько я понимаю, это болезнь сердца, а не пищеварения). Несмотря на то что деда хоронила родня, муж тети Юли дядя Петя и бабушкина сестра тетя Леля, его могилу вскоре после войны папа отыскать уже не смог.

А мы ехали в Тюмень. Обо всем случившемся мы узнали уже там из письма бабушки…